

РАССКАЗЫ

СТУДЕНЧЕСКИЙ БИЛЕТ

1

Каждое утро, пять дней в неделю рабочие садились на первую электричку. Они презрительно осматривали студентов, служащих, дачников — всех, у кого не было железнодорожной формы, небрежно хлопали друг друга по рукам и молча закуривали. Вагон качало. Табачный дым медленно толкался в тамбуре, плывя по надписям «не курить» и «не прислоняться». Женщины-контролеры, проходя мимо сидящих на сумках рабочих, отмахивались от дыма и недовольно говорили:

— Накурили опять, ребята!

А те негромко, по-утреннему, смеялись.

Выходили они на Северной. Перед входом в депо мужики, не совсем проснувшись, поэтому немногословные, долго курили. Переодевшись, хлебали слабый чай и, окунувшись в привычную среду взглядов и запахов, разутюживали язык. На разрядку и получение инвентаря уходило еще сколько-то времени. Потом не грех постоять у входа с сигаретой.

До обеда время тянулось медленно. После работать совсем не хотелось. Зимой с этим как-то справлялись, но летом всех, от дворников до начальника депо, охватывали лень и безучастие. Щебенку раскидывали нехотя. Часто курили, побросав лопаты. Когда посылали кого-нибудь за банкой креозота, сразу прекращали работу, садились, кто где, и снова курили. Так и сидели молча, шурясь на солнце. До тех пор, пока иной из рабочих не доставал карты. Резались в дурака в охотку: кричали, матерились, громко смеялись, хлопали друг друга по спине и плечам. Вернувшийся с креозотом рабочий сам присоединялся к игре. И ни бригадир, ни другой какой начальник ничего не могли поделать.

Вечером мужики уходили в депо за пятнадцать-двадцать минут до конца смены: надо еще покурить, закинуть инструменты в кладовку и, переодеваясь, влить в себя жидкий чай. В ожидании электрички они безвольно щелкали семечки, рассыпая шелуху на платформу, курили, посыпая уносящимся пеплом и дымом проходящие составы. Разговаривали, смеялись, отхлебывали из пивных бутылок. Говорили о рыбалке, женщинах, но больше о работе, перемалывая одно и то же по несколько раз.

Когда железнодорожники заходили в тамбур электрички, он мгновенно пропитывался кислым запахом пота. И только потом чем-то горячим и горьким. На станциях смертный воздух не успевало выносить, и рабочие все больше кислили и горчили. А в завагонном пространстве виднелись глухие тупики с рядами разноцветных вагонов, вековые угольные ямы, которых не брали ни дождь, ни снег, заборы, летом обретающиеся крапивой, зимой зияющие бетонной голью. За забором высились дома.

Александр Сергеевич Пятков родился в 1993 году в городе Березовский Свердловской области. Живет и работает там же. Публиковался в журнале «Урал».

Выходя из города, они становились ниже и ниже, переходили в сады, а потом все покрывал лес. Выходили рабочие на станции Рассветная, шумно прощались и расходились по домам.

2

Отработав, откурив, отходив смену, рабочие переоделись, прошли по асфальту депо, поднялись на мост и спустились на платформу: чтобы курить, пить пиво, щелкать семечки и говорить о рыбалке, женщинах и работе в ожидании электрички.

Тамбур оказался занят. Обматерив про себя занявших место людей, мужики протиснулись в вагон. Сентябрь стоял необычно теплый, форточки были раскрыты. Тут и там мелко перебежал ветер. Один из рабочих, Игорь, Игореха, как звали его товарищи, стоял и смотрел в окно. Грязных пальцев несколько раз что-то коснулось, но он не заметил. И когда запоздало опустил голову, чтобы прикрыть зевок, увидел, что на руки падают развевающиеся от ветра женские волосы. Волосы были волшебством. Их можно было намотать на палец, поцеловать, понюхать, отрезать на память, в конце концов, будь ножницы. Волосы плыли, струились по рукам. Приближалась Рассветная, а железнодорожник никак не мог оторвать руки от поручня.

— Игорех, ты что? Выходить сейчас будем, — толкнул его локтем мастер шестого участка Смолов.

А на следующий день волосы снова коснулись руки Игоря.

Годы шли, а рабочие все так же заполняли собой тамбур. И несколько дней в неделю волосы плыли по Игоревой руке. Он научился незаметно прикасаться к ним, иногда ухитрялся даже их нюхать, ведь пахли они чем-то неведомым. Не выветренным запахом угольных ям, не прелыми промасленными шпалами, не жухлой осенней крапивой, валяющейся под мокрым забором, не кисло-горьким тамбуром, не давящим на виски, прокуренным, просмоленным воздухом депо, не привычным запахом бетонной платформы: не пылью собственной жизни...

Волосы несли в себе живой воздух какой-то другой, невероятной жизни. И когда Игорь не мог до них дотянуться, ревниво смотрел, как вьются волосы около чьей-то ладони. А пассажир тот, казалось, и не обращает внимания на такую мелочь.

Но однажды, в вечер вторника, девушки не оказалось на месте. Игорь вернулся в тамбур. На следующий день он протолкнулся через вагон, всматриваясь в лица, получая в ответ слова и толчки, но не нашел ее. В четверг зашел в другой вагон. В пятницу прошел все шесть. Девушки нигде не было.

В дальнем тамбуре, воздух в котором был вполне смертным, без посторонних примесей, у выхода, прямо под надписью «не прислоняться», что-то чернело. Это что-то, когда Игорь его поднял, оказалось студенческим билетом на имя Синаевой Елены. Рядом с именем была приклеена фотография, наполовину съеденная печатями. Рабочий долго смотрел на фотографию, вглядывался в черты незнакомого лица. И чем дольше смотрел, тем все больше казалось, что черно-белые волосы были именно те самые, которые он так неожиданно потерял.

3

Было непривычно снова ездить в вонючем тамбуре. Но время все покрыло. Игорь так же, как раньше, среди своих старых приятелей и молодых, прибившихся к ним железнодорожников качался в вагонной расщелине, которая за годы пропахла рабочими еще больше.

— Ну и прет у вас здесь, — говорили молодые, закуривая, но никуда не уходили.

Игорь сидел на сумке, уныло поглядывая временами на дверь. Часто всматривался в пространство вагона, пытаясь что-то там разглядеть. Когда забывал, как пахнут волосы, как по ним можно провести рукой, доставал из нагрудного кармана билет и, казалось, вспоминал.

— Что это? — спросил как-то бригадир четвертой бригады Смолов.

— А так. Нашел вон, — куда-то показал рукой Игорь.

— Красивая, — сказал Смолов. — Синаева Елена. Хорошая фамилия. Восточная. Сказочная даже.

— Это почему? — встрепенулся Игорь.

И Смолов начал рассказывать про Синай — про волны, в которых плавают большие красивые рыбы, про морской залив, куда садится вечером солнце; про жаркие ключие пески, про холод восточной ночи; про голые, испепеленные зноем горы, про благодатные оазисы пустыни; о роскошных дворцах всемогущих шейхов и худых хижинах хищных бедуинов, которые не сознают своей бедности. И много еще о чем, много еще о чем...

Смолов говорил и говорил. Игорь видел не невозможное, недостижимое, то к чему не прикоснуться, а потерянное, которое все больше и больше размывалось в бескрайних синайских широтах.

Годы шли. Игорь выкрасил наново кухню, купил большой телевизор, перешел от пивных бутылок к банкам. Их удобнее выбрасывать: никто и внимания не обращал на то, как банка летит и плюхается на простор отечества. С бутылкой проблем сколько: звенит, разбивается...

Когда Игорь смутно осознал, что жизнь проходит, — женился. Жил, как все живут: когда надо было любить — любил, когда ругаться — ругался, когда мириться — мирился. И не сознавал глубины ответственности своей неодинокимой жизни. Только где-то внутри слышал, как дуют во всю силу синайские ветра, неся песок и отрывая от земли камни.

— Это что? — спросила жена Игоря, когда он сидел на дворе и разглаживал на фотографии волосы Елены.

— Билет студенческий, — ответил невозмутимо железнодорожник.

Жена посмотрела.

— Красивая эта Елена.

Игорь кивнул головой.

Когда второй раз билет попался жене на глаза, она разругалась с мужем, а студенческий выкинула в мусорное ведро. Через несколько недель, найдя во время стирки билет в кармане рабочей куртки, жена назвала Елену шлюхой, а Игоря — паскудой неблагодарной.

Ругались с полгода. Жена после каждого скандала куда-то уходила и возвращалась только на следующий день. А потом хлопнула дверью и больше не пришла. Игорь запил.

4

Через пятнадцать лет он все еще работал на железной дороге: трудился дворником по причине своего возраста, пьянства и старого товарища — начальника депо Смолова. Игорь пять дней в неделю ездил на электричке до Северной, где захаживал свои непрочные следы на асфальте депо. Махал то метлой, то лопатой и часто от скуки

курил. Когда ехал домой, то по привычке оставался в тамбуре, но старых друзей-рабочих уже не было. Кто уволился, кто спился. Некому стало звать его Игорехой.

За годы тамбур растерял свои, как когда-то казалось, вековые запахи без старых железнодорожников. Молодые рассыпались по вагонам и, все по отдельности, даже не выходили курить. Игорь с грустью смотрел, как старое время уходит, заполняя себя чем-то неведомым, оставляя лишь отдельные точки на карте жизни. И он, одинокий, оторванный, зияет где-то, невидим для других. Все куда-то уходило. Оставались кусты крапивы и угольные ямы. Банка пива в руках, сигареты в правом кармане и студенческий билет: застиранный, замусоленный, иногда не вынимавшийся из куртки месяцами.

Очередным пятничным вечером тамбур заполнили студенты с гитарой и рюкзаками. Игорь кое-как протиснулся между пассажирами в вагон. Из форточек тянуло отходящим сентябрьским ветром. И с чего вдруг железнодорожник посмотрел вниз — волосы, черные, с клочками проседи, плыли по его руке. Ветер поддувал, и они то взлетали к предплечью, то опадали, накрывая ладонь. По груди Игоря рассыпался страх. Он захотел убрать руку, будто волосы были зачумленными. Но она словно приросла к поручню.

Он пробрался в тамбур. Отвернувшись к стене, достал студенческий билет, открыл, украдкой понюхал волосы Елены. От невидимых, затертых волос шел запах пота, дешевых сигарет и черного-черного масла. Игорь тщетно пытался найти воздух, тот воздух той неожиданной свободы, чистый и свежий, которым он дышал когда-то.

На следующей станции Игорь как бы невзначай уронил билет в открывшуюся дверь. Тот, стукнувшись о нижнюю ступеньку, благополучно упал на край платформы. А когда электричка уехала, качнулся и выпал на рельсовое пространство в стоячую лужу креозота. Железнодорожник ничего этого не видел. Он только запомнил синий билет, лежащий на краю пропасти.

Не доезжая станции до дома, Игорь вышел из электрички и, закурив, пошел вдоль путей в сторону города, наступая на редкую, выбивающуюся из-под шпал траву.

ЛИСТОПАД

Свет в коридоре еще не включили, и сквозь полуприкрытую дверь он чувствовал то уходящее и невозвратное, что несло с такой быстротой за окном, в которое надо было смотреть, смотреть и — прощаться.

Сосед по купе ужинал. Когда подали свет, к нему пришла женщина да так и просидела до позднего вечера. Они долго разговаривали, перебирая рефераты, дипломы, студентов, университетские дразги, нимало не стесняясь своего попутчика. Говорили словно поп и попадья, сидящие за самоваром на постоялом дворе, коротающие одинокое, завывающее метелью время. Сосед раз за разом доставал откуда-то конфеты, печенье и все бегал подливать чай в стаканы.

За последние двое суток спал Ветров несколько часов и, садясь в поезд, думал, что отоспится до Казани, а там выйдет на перрон и будет ходить, ходить и думать, что же теперь делать со своей жизнью. Но вместо того, отвернувшись к стенке, чувствуя затылком обращенное к окну одиночество и пустоту осенних приволжских полустанков, плакал. Когда женщина ушла, сосед, еще раз поужинав, лег на полку. Он поминутно вздыхал и ворочал ногами, не давая заснуть Ветрову. А Ветров плакал — где-то на грани сна, — закрывал, открывал глаза, прижимаясь щекой к мокрой подушке.

В Ульяновске, просидев в одиночестве несколько часов на сером обшарпанном вокзале, единственно выделявшемся мытыми барельефами прошлого века, Ветров ощутил, что теряет имена и названия, что вокзал становится просто вокзалом — серым обшарпанным вокзалом, и к нему не подобрать ни слов иных, ни созвучий. Сев в поезд, Ветров долго после того стоял в коридоре, прислонившись лбом к стеклу, смотрел на город — тускло, безлико теряющийся в окне. Тянулись пятиэтажки, раскрытые трубы теплотрассы. Какой-то древней темью вставали за домами ряды гаражей. Сквозь закат догорающе проступало на дорогах что-то совсем осеннее, еще не осязаемое последним сентябрьским теплом.

В Казань поезд пришел с опозданием. Перрон быстро опустел, только проводники жались у дверей, укутываясь от волжского ветра в свои железнодорожные негреющие пальто, да редко подходили новые пассажиры и, показав билет, пропадали в пространстве вагона. Воздух, холодный и чистый, уже начал по-осеннему загрубевать. Ветров ходил по перрону и чувствовал, что нежность — тревожная, волнующая нежность, придя взамен отчаяния, безысходного, непереносимого, плачущего отчаяния, нарастает в груди, стесняя дыхание.

Ветров не мог найти листьев на перроне и думал: где же они? В его городе вокзал осенью всегда бывал полон пожухлых листьев. По утрам дворники выметали их на рельсы. С детства помнились мокрые листья, лежащие под платформой. Небо, не затянутое тучами, отливало синевой, точно перед грозой летом. Глядя на небо, даже не Ветров, а кто-то другой его голосом, его мыслями спрашивал: где же вмерзшие в небо звезды? А в его городе...

Лег Ветров за полночь. Он долго не спал, жалея расставаться с прошедшим днем, с тем, что так необратимо произошло за то короткое, дарованное на счастье время. Глаза то и дело закрывались. Он сел и стал смотреть в окно — сладко и больно было видеть брошенные в ночном просторе поля с таинственно чернеющими на них необрунными копнами сена и повторять в немом отчаянии:

— Таня... Господи, Таня...

Проснулся он рано — только начало рассветать. Глаза резало от сухого вагонного воздуха. В купе было пусто.

— Таня, — произнес Ветров первое дарованное ему.

В коридоре он увидел женщину, которая вчера приходила к соседу. Она стояла в проходе, изредка поглаживая рукой круглый, заметно выступающий под платьем живот, и смотрела в окно. Глаза ее слезились.

Поезд миновал какую-то станцию.

Станции уже не было видно: худая, без дымов, деревушка с темными домами, еще темнее от раннего утра, глухого и серого в осенней нищете, тянулась за окном. Прильнув головой к стеклу, Ветров только и мог шептать: «Господи, Таня, Таня...»

В убожестве железнодорожного туалета стало совсем тошно. А увидев себя в зеркале, Ветров сморщил лицо и застонал.

— Господи, Таня, — заслезилась глаза.

В купе он не вернулся, а остался в тамбуре. Утро было пасмурное, что-то похожее на дождь стояло в чахлах, сырых полях. Они далеко простирались окрест, и можно было видеть мелкий туман, неплотно лежащий у земли. Он тянул прямо от насыпи, теряясь в поникшей траве.

Мелькнул пустой переезд.

Из прибитых дождем трав поднялись мокрые проселки. Какими унылыми и глухими казались они среди низких полей. Как степь. Сухая, не остывающая в ночи степь.

РОЖДЕСТВО

1

В комнате всегда пахло яблоками. Особенно сильно запах чувствовался с мороза: легкий, с молодой прелью, стоящий над дощатым полом комнаты. Стоило только войти в дом, как тут же мешались носимые в воздухе подголоски скрипучей обитой двери, зимнее дыхание и запах яблок — легкоуловимый и куда-то зовущий. Яблоки лежали на подоконнике, между цветочными горшками. Дров для печи не жалели, в избе катался жар, напоминая о летнем времени, в котором так хорошо и легко жилось. Яблоки лежали в трех миллиметрах от замерзшей, выдуваемой улицы с метущимися над горстями домов дымами.

Летом яблоневого запаха не могли заполнить собой расцветший день, его голоса и тишину, его трели и всходы, болтающуюся воду в бочках, полуденный жар. И была шатающаяся молодая хвоя, были первые облетающие листья. Вмиг чернели заборы, когда повалит шумный ливень и когда так хорошо и светло думается о снеге. В неторопливой русской жизни рябины и черемухи всегда жили сами по себе около домов. Яблони стояли по одной, может, по две на огородах: на них, казалось, большого внимания не обращали — не картошка!

Георгий весь свой клочок земли засадил яблонями.

Георгий приехал к нам из Грузии. Что за нужда погнала его куда-то, никто толком не знал. Я часто видел, как он работает. Иногда он кричал мне:

— Эй, ходи сюда! — и улыбался широко и солнечно.

— Подсоби малость, — говорил сосед, а я, маленький, никчемный, помогал ему. То придерживал спиливаемые сухие ветви, то перетаскивал тяжелый шланг, поливая одно за другим дерево, — я, маленький и тщедушный.

После работ мы сидели на перевернутых, с россыпями дыр, ведрах и молчали. Дождь был на миру, или земля сохла в трещинах под солнцем, течение этих наших встреч не менялось. Георгий закуривал. Дым на ветру представлялся тягучим и горячим, казалось, не было запаха лучше. Но наступала зима, а с зимой яблочные запахи водворялись над миром.

Летними вечерами Георгий сидел на скамейке около своего дома под старой черемухой, аккуратно отрывая по одной низко свисающие ягоды. И так же аккуратно, медленно жевал их. Когда к нему приходили, он рассказывал, какая теплая в Грузии жизнь — какая теплая в Грузии была жизнь. В жизни той нависали над городом стиранные простыни. Ночью поднявшаяся из-за гор луна двоилась, отражаясь в чистых — до дна — озерах. Жители, видя луну, но ни видя озер, спали на нагретых за день крышах домов. А утром с гор по виноградникам и яблоневым садам тянулся дым. Утренний дым кахетинских яблок.

По праздникам Георгий напивался. И, как всегда, говорил о яблоках, но то были какие-то другие: горящие, черные, пожженные, валяющиеся на земле, гниющие плачущей гурьбой. И пахли яблоки тяжело и свинцово. Но когда-нибудь наступала зима, и в жарко натопленном доме я слушал рассказы о далекой стороне. Станным и непонятным стал мир, когда рассказы эти закончились. Потом не стало яблок, потом захирели деревья. А после и жизнь пошла другая. И только мелькала в памяти теплая и счастливая Кахетия.

2

На юге я жил пятый месяц. Раза три в неделю я подряжался на какую-нибудь работу: то грузчиком на рынке, то еще где-нибудь кем-нибудь. Жильем моим была полу-

комната-получердак на втором этаже ладно справленного дома. Хозяин иногда приглашал меня к столу, где расспрашивал о жизни на холодном Урале, о родителях, и никак не мог понять, почему я такой уродился и что за жизнь веду.

— Был бы отец я твой, мигом понял бы! Раз! Два! Послушный сын растет! — махал хозяин рукой по воздуху, словно ремнем, и расплывался в широкой, расставляющей зубы и беззубье улыбке.

Глядя на него, я вспоминал Георгия, но хозяин, пожилой армянин, не держал сада.

— На что мне сад? Я в Армении скажу брату: брат, привези яблок, пожалуйста. Раз — килограмм. Два — килограмм. Десять!

Он говорил, поочередно загибая пальцы:

— Вот приехал бы ты в Армению к нам. Работы не боишься — раз. Жениться хочешь — два. Мигом невесту соберем. Выбирай! Дом построишь — три! Помогу! Дети — четыре!

— Тут я уж сам...

— Тут ты уж сам справишься, не буду спорить! Завтрак, обед, ужин — свое все! Все жена делает! Все как у людей! Ну, поехали! Надо ехать!

— Нет, не поеду.

— Хоть посмотрел бы! Хоть и земля-то... эх вы, русские... ну, ничего, ничего...

Дом наш стоял на окраине города. Из окна мне смутно был виден вдалеке плывущий по реке лес и четко слышны звуки топоров и пил. Как-то я пошел туда. Мужики тащили деревья из воды и тут же на берегу тесали, кололи и распиливали. Я спросил у них работы, но они отказали, сославшись на то, что такому молодому учиться надо, прибавив к тому еще, что я хиляк. Хиляком я себя не считал, ведь разгружал же на рынке машины с овощами и фруктами и носил на руках шестидесятикилограммовых, при росте сто семьдесят, барышень. Только потом я понял, что шестьдесят килограммов женщины легче сорока девяти цемента.

Поздняя осень стояла очень теплая. В свободное время я захлебывался морем — плавал, ходил берегом от станицы к станице, довольный, голодный и усталый, возвращался на свой чердак, чтобы завтра проснуться и идти грузить арбузы и дыни. С каждым днем родной дом звал все сильнее. Мне хотелось туда, где уже наверняка выпал снег, тем более что погода стала скоро меняться, и юг начал остывать. Был у меня с собой радиоприемник. Я вывел антенну на крышу дома и ловил почему-то Италию: Венецию, Флоренцию, Геную — только не Рим, пробиться в римский эфир не удавалось. Долгими южными вечерами я лежал на кровати, слушая итальянских скрипачей и грустные католические мессы. И кажется, не было разницы — стоять на берегу осеннего моря или слушать чудесную далекую музыку.

Так я дожил до декабря и двадцать третьего был готов к дороге. На вокзал я, конечно, не пошел: поместился в открытом дождям и снегам вагоне товарняка, идущего на Урал. Обосновался я в конце состава, чтобы, если вдруг случится что-нибудь, дать стрекача от обходчика.

Поезд тронулся и поехал, слегка покачиваясь, скрипя и звеня, с каждым метром приближая меня к родному дому. На второй остановке, ближе к Поволжью, в соседний вагон забрался какой-то бродяга. Он вежливо поздоровался и, перебравшись ко мне, узнав, откуда я еду, спросил, какие яблоки были на юге. Я вспомнил о Георгии. Бродяга достал из сумки яблоки и протянул мне. К вечеру аккуратно, мелко пошел снег, падая на крашеное железо. Всю ночь бродяга курил, и дым, плавая в пространстве вагона, не уходил вверх, а становился снегом. Мы смотрели на падающее снегом небо, в котором сияли на миру звезды, а из приемника тихо, еле слышно плыла по русской округе рождественская месса...

Снежными зимними вечерами я смотрю в окно, вспоминаю свою далекую, бродячую жизнь и не нахожу ей ответа. И не могу задать вопрос этой — сытой и теплой. Счастливой даже в своей памяти. Но нет-нет да взгрустнется. Тогда я достаю приемник, вывожу антенну в форточку и пытаюсь поймать Италию. Даже ночью Венеция шипит, захлебывается, и невозможно разобрать ни строчки из «Ave, Maria» или «Te Deum». Но все-таки я слышу. Слышу, смотрю на звезды и думаю.

Я думаю о Георгии.

ПРОЕЗДОМ

Поезд медленно трогается, а перрон — бедный, всегда одинокий перрон — остается. Глядишь — город уже позади. Сады, платформы, полустанки. Леса.

Кунгур. Балезино.

Поля.

Сергач. Пижма.

Города — один, другой, третий. Реки — одна, другая, третья. Едет поезд. А в поезде девятнадцатилетний Глеб Некрасов, студент, первокурсник. Он уже второй раз — в Москву.

Холодное утро осени. Медленно светает. Свет серый, нерасходящийся затянут тяжелыми, плотно пригнанными друг к другу облаками. Накрапывает на окно. Глеб Некрасов просыпается. Поезд стоит. В вагоне душно, глаза слезятся от духоты. Студент идет умываться. После зябнет в тамбуре, дышит холодным воздухом.

На платформе мерзнет молоденькая проводница.

Глеб молчит. Робеет.

Потом спрашивает:

— А что за станция?

— Расходное это, — отвечает девушка.

По платформе ползет откуда-то мелкий туман. Сыростью пахнет, прибрежной землей, тиной, резиной сапог.

Глеб молчит. Робеет.

Спрашивает:

— Сколько стоять будем?

— Шесть, — коротко отрезает проводница.

Подумав, добавляет:

— Минут.

Вернувшись, Некрасов ложится на полку, ворочается, но заснуть не может.

Соседи спят. Похрапывают, посапывают, посвистывают.

Поезд стоит.

Глеб садится, смотрит в окно. Напротив — бревенчатое здание вокзала. Большие окна. Кирпичная труба. Торчащая безоконная башенка. Водокачка. На платформе — женщина с телегой и баулом. Рядом сидят на больших спортивных сумках работяги. Они, может, и не работяги, но так о них думает Некрасов. Рассмотреть он их не успевает, поезд медленно трогается. А перрон — бедный, всегда одинокий перрон — остается. Уже позади мужики и их большие спортивные сумки. Некрасов не видит, как женщина пытается продать мужикам мед.

— Купите мед. Хороший, — говорит. — Хороший, хороший, — повторяет.

Мужики молчат. Нет, нет, нет, — повторяют. Покачивают головами, отворачиваются, взгляд вниз, к платформе, к лужам, к траве. Туда, где стоят и сумки мужиков,

и баулы женщины. Земля и трава, земляца и травка, невытопанная, засыпана подсолнечной шелухой. На деревянных шпалах плевки. Грязь, лужи — дождичек прошел. Под ветром неловко дергаются и тонут осенние, в желтом, синем и красном, листья, так хорошо видные в прозрачной воде.

— Купите меду, а? — не унимается женщина.

— Не на что, — все-таки отвечает один из мужиков. Голос глухой, гортанный.

— Дешево отдам. Ты бы купил. А то купи, что ли?

Некрасов ничего этого не видит — поезд уже минует разъезд. Здесь расходятся пути. Шпалы, рельсы, семафоры, столбы, провода, креозот, железнодорожники, бредущие куда-то. Захудалый, мокнувший, прозрачный в своем убожестве разъезд. Среди утренней тишины, в которой поезд не важен, стоит рябина. Яркая, переливающаяся своим светом, так не подходящим к тусклой распаханной округе. Будто не рябину здесь посадили, а разъезд ради нее устроили. Рядом дом. Крыша четырехскатная, жестью крытая. Перед низкими окнами стопками сложен шифер. Изгородь, часть изгороди. Видно: между рябиной и домом натянуты веревки. На них мокнут под дождем две простыни.

Но вот Глеб Некрасов уже не просто Глеб Некрасов, но Глеб Юрьевич Некрасов. У него жена и двое детей, и он едет в Москву. Два раза в год, летом и зимой, он приезжает на Урал к матери. Теперь он возвращается. В Москву.

Кунгур. Балезино.

Сергач. Пижма.

Мать Некрасова живет одна. До тех пор, пока не приезжает сын. Уезжая, он просит сидящих на скамейке старух: «Вы там присматривайте за ней». Просит потому, что мать одна и дом старей. Деревянный, в четыре окошка, с давно не беленной печью.

Кунгур. Балезино.

Некрасов едет и вспоминает все это: мать, дом, четыре окошка, опять не побеленную печь и — протекающую, конечно, крышу. Немножко, но протекающую. И — город. Старый уральский город, городок. Сбитые, наклепленные друг на друга дома, домишки. Летом по улицам свободно ходят коровы. Осенью во дворах рубят капусту. Зимой — глушь и тоска.

Некрасов возвращается в Москву зимой.

Сергач. Пижма.

— Опять один приехал. Опять один. Без Оли, — повторяет Некрасов шепотом слова матери.

Засыпает.

Просыпается.

Поезд стоит. Утро. В окне — бревенчатое здание вокзала. Большие окна. Кирпичная труба. Торчащая безоконная башенка. Водокачка. Перрон засыпан снегом. Снег везде: на тополях, на перроне, на поезде, на желтом бульдозере. На кустах шиповника. Сверху. Снизу. Со всех сторон. Тянет откуда-то морозный туман.

Глеб Юрьевич выходит в тамбур. Студено, морозно. Идут, скрипят ботинками работяги. Они, может, и не работяги, но так о них думает Некрасов. Один из них показывает на свою спортивную сумку, висящую на плече, и тычет, тычет кулаком в сумку товарища. Показывает и тычет. Вот их уже и не видно. Проходит обходчик. Постукивает ключом. Потом — тихо вокруг. Только пытит, попыхивает локомотив.

Поезд трогается, а перрон — бедный, всегда одинокий перрон — остается.

Уже недалеко разъезд. Рядом стоит дом. Изгородь, когда-то обносившая его, повалена. Там...

Тихое зимнее утро. Мелко серебрится изморозь на окне. Некрасов открывает глаза и видит: женщина развешивает белье.

Светаает.

Полошутся на ветру мокрые простыни.

ГРЕНАДА

Мы жили на окраине города — за десятком серых хмаревых хрущевок уже не было домов. Только несколько рядов гаражей, железная дорога, завод и дорога автомобильная. И кладбище. Раз в году мы с бабушкой ходили туда.

В тот день просыпаюсь я раным-рано, но долго не встаю, лежу и слушаю, как грохочет проходящий поезд. Недалеко сортировочная станция, оттуда то и дело что-то неразборчиво доносится. «Пу-уть. Пу-у-уть...» — единственное, что различаю. Состав проходит. Слышно, как в соседней комнате бабушка собирается на завод. Поскрипывает пружинами диван, постукивает дверца шкафа, шелестит юбка. Дедушка тоже не спит.

— Пойдешь опять? — спрашивает бабушка.

— Пойдем, конечно. Как не сходить?

— Вот и шел бы один. Маешься не пойми чем да еще его с собой тащишь.

Потом они уходят на кухню и там — приглушенно, отрывисто, тихо о том, что нечего там делать, что такое, подумаешь, а как же так, давно это было, давно. А дальше — не слышно за шумом проходящего товарняка.

Просыпаюсь я от того, что щелкает дверной замок.

— Ногу хоть свою поберег бы, — бросает уже из-за порога бабушка.

Несколько минут после ее ухода в квартире тихо-тихо. Ни стуку ни грюку. Ни звука. Ни шороха. Вот опять по железной дороге идет товарняк. Идет, идет и проходит. Я слышу, как кто-то скребет, шуршит паласом — это бабушка идет будить меня. Он будто не то что волочит, но подволакивает ногу. Так, что каждый шаг можно посчитать за два. На улице его хромота была почти незаметна. Бывало, поедем мы на рынок или в баню. Сидим после на остановке. Автобуса все нет, дед и говорит:

— Пойдем, Санька, пешком. Чего мы в автобусе не видали?

И вот мы идем. Медленно, не торопясь — улица за улицей, квартал за кварталом.

— А куда нам торопиться? Правильно? — спрашивает бабушка.

Вот открывается дверь. Он заходит в комнату. Я закрываю глаза.

— Санька, каша простыла. Вставай. Звонят, Санька.

Слышно колокола. Это звонят в прикладбищенской церквушке. А за окном еще темно. Медленно, неразборчиво светаает. На улицу мы выходим, когда становится совсем светло. И медленно-медленно идем — на кладбище. На прошлой неделе немножко подсыпало, но снега почти нет. Хотя каждый день куда-то тянет и тянет серые, мглистые, нераскрывающиеся облака.

Чтобы перейти железную дорогу, нужно подниматься на мост — на путях всегда стоят поезда. Пыхтят, сопят, выбрасывая пар, локомотивы. Ждут.

— Ну чего, пойдем. Не тронется поезд, — говорит бабушка. Но я стою и жду. Глядишь — где-нибудь махнет рукой обходчик в промасленном ватнике, вздрогнет состав и покатится в сторону станции.

Бетонные ступеньки в маленьких дырах и трещинках. Каждую осень приезжают рабочие с лопатами и цементом. Но как только стаивает снег, мост снова начинает расплзаться, и к ноябрю дыр и трещин становится еще больше, чем было раньше.

От моста мы идем вдоль завода через маленький скверик, необрунный, зарастающий, с запущенными клумбами, полными битого стекла и окурков, с травой, затягивающей выложенные тротуаром бетонные плиты. На грязных, замызганных скамейках, не скамейках — скамеечках, с утра уже сидят мужики с бутылками. Дальше — автомобильная дорога. Там шумно, и если оттепель, особенно грязно. И чем-то неприятно, прогоркло пахнет в застуженном воздухе. Хочется скорее дойти до кладбища. Оно вот — через дорогу перейти. Вот и ограда. Вот и церковь, где звонили. Вот и ворота. Бабушка говорила о том, что перед тем, как зайти на погост — так она и говорила: погост, — надо креститься. Я крестился. Но не помню, чтобы крестился дедушка. Только шапку снимал.

Кладбище старое, когда-то темное-темное, рассказывал он, пока мы шли узкими дорожками, усыпанными лиственничными иголками. Шиповник, можжевельник, та-волга, сирень — повторяю я вслед деду. Деревья осыпались всюду: и на дорожки, и на могилки, и даже на синий, с золотыми крестиками купол прикладбищенской церкви. И так чисто и хрупко, почти хрустально в воздухе, как будто февраль стоит на земле — вот-вот дотянется до весны и распадется на талые месяцы.

Мы доходим до северных ворот, наглухо закрытых, с косыми ржавыми подтеками, и идем вдоль бетонного забора. Здесь уже нет дорожек, только земля, едва присыпанная снегом, шуршащая невытопанной смерзшейся травой. Но вот останавливаемся, дедушка говорит:

— Смотри и запоминай.

И я запоминал.

Окрест поднимались прямо из земли, с осевших, едва заметных холмиков, из голых торчащих кустов ржавые пирамидки. На памятниках не было овалов фотографий, надписи — имена и фамилии, года жизни — облезли, стекла, выветрились, вымерзли, выпали, выдохлись, превратились в царапины на жестяных проржавевших табличках. Вот облезлая красная — уже и не красная — звезда. Вот еще одна. Кресты, камни — это все там, там, откуда как будто напользают гранит и мрамор. Все меньше и меньше становится так хорошо, осенне ржавеющих, сваренных из арматуры пирамидок. Теряются, что ли, а может, в самом деле исчезают. Вот несколько их, лежащих вповалку, в безвестии около забора, откуда-то, кем-то сюда перенесенные.

— Когда они умерли? — спрашиваю я.

— Давно, давно, — машет рукой дедушка. — И не спрашивай. Нас тогда еще не было.

— А когда это было? — все не унимаюсь. — На войне? После войны?

— Давно. Давно, — машет рукой дедушка. — Ты давай запоминай. Запоминай.

Мы ходим между беспорядочно разбросанными могилками. Останавливаемся то тут, то там. И как-то незаметно вновь появляются кресты и каменные памятники. Я смотрю на фотографии, читаю имена. Считаю, сколько прожил человек, и удивляюсь. Восемнадцать — как это мало! Тридцать пять. Как мало. Шестьдесят один. Все же мало. Девяносто два. Мало, мало, мало...

Потом заходим в церковь. Там светло и просторно, пахнет ладаном — как раз закончилась служба. Батюшка с короткой бородой, в зеленой епитрахили, с большим медным крестом на груди глядит на иконы. Дед покупает маленькую грошовую, усмеивается, свечку. Ставит рядом с распятием.

За день до того к нам приезжали гости, такие же старые, как бабушка с дедушкой, — ели, пили, пьянели, смеялись. Родовались. Но больше жалели о том, что демонстрации нынче нету, а как хороши они были.

Дед доставал гитару. Пели. В песнях все время воевали, умирали и побеждали.

— «Каховка, Каховка, родная винтовка», — запевал кто-нибудь. Нестройно, совсем не по-боевому подхватывали.

Пели. Пели. Пели.

Потом и рюмки, которые от мая до ноября нетронутые стояли в серванте, звенели:
— «Гренада, Гренада, Гренада моя».

Вечером шли на мост. И там — вспоминали, вспоминали. Вспоминали. Из заводского депо выезжал и заезжал обратно по несколько раз синий маневровый тепловоз, протяжно и зазывающе гудя.

Медленно ползет впереди огонек локомотива. Блестят в его свете провода. Где-то вдалеке светят фарами автомобили, проезжающие по дороге. Рядом с мостом — серые панельные хрущевки. Свет — тусклый, желтый, вечерний. В нераскрывающемся ноябрьском небе леденеет красная мигающая точка. «Пу-уть. Пу-у-уть...» — доносится со станции.

На следующий день мы шли на кладбище. Вернувшись домой, дед доставал гитару и начинал петь:

— Мы ехали шагом, мы мчались в боях...